

ОЛЬГА ДАШКОВА

Сердце
ПОД ОГНЕМ

Ольга Дашкова

Сердце под Огнем

«Автор»

2026

Дашкова О. В.

Сердце под Огнем / О. В. Дашкова — «Автор», 2026

Мой позывной Призрак. Я не оставляю следов, не привязываюсь, не позволяю себе слабости – на моём теле выбиты только даты тех, кого я не смог спасти. Она спасла меня. Врач с холодными пальцами и невозможным взглядом, которая вытащила меня буквально с того света, а потом отказалась отпускать. Нас предали свои. Снаружи охотятся те, кто хочет нашей смерти. Внутри рушится все, в чем я клялся себе годами: никого не подпускать так близко, ничем не дорожить, чтобы нечего было терять. Она разрушила эту клятву одним взглядом. Скоро придется выбирать: снова исчезнуть призраком без имени – или остаться собой ради нее, даже если это будет стоить нам обоим жизни. Книга из серии "ОФИЦЕРЫ"

© Дашкова О. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог Призрак	5
Глава 1 Алена	7
Глава 2 Призрак	10
Глава 3 Алена	13
Глава 4 Призрак	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Ольга Дашкова

Сердце под Огнем

Пролог Призрак

Первое, что возвращается, это не боль.

Боль придет позже. Она всегда стоит в очереди последней, как будто ждет разрешения.

Первым возвращается звук: ровный, механический, чужой. Не похож ни на выстрелы, ни на крики, ни на треск рации.

«Груз двухсотый. Повторяю, груз двухсотый».

Звук просто есть. Тонкий, размеренный, как будто кто-то отсчитывает время, которого у меня быть не должно. Не сразу понимаю, что это писк монитора. Мозг еще там, в песке, в раскаленном воздухе.

Спина Дениса. Секунда до того, как его не стало.

Все, что после, помню рвано. Свет фонаря сквозь веки. Чьи-то руки, слишком много рук. Все торопятся, все говорят одновременно.

Не могу разобрать ни слова. Только тон: низкий, требовательный, привыкший, чтобы его слушались с первого раза.

Цепляюсь не за смысл. За тон.

Потом – тишина.

В ней нет ничего, кроме собственного сердца, бьющегося слишком медленно для человека, который должен был умереть двадцать минут назад.

Я знаю статистику, сам ее писал в рапортах сухим языком, без прилагательных: «ранение несовместимо с продолжением операции».

Я не подхожу под собственные формулировки. Это единственное, что меня забавляет в темноте.

Дальше – провал. Не сон, не обморок, что-то третье, без названия.

В этом провале нет образов. Только ощущение, что меня удерживают за руку. Не в переносном смысле – буквально. Ладонь на запястье, там, где пульс. Хватка не отпускает, даже когда все остальное расплывается.

Не помню ничего, только, что хватка не дрогнула ни разу.

Руки вокруг меня обычно либо тащат, либо режут, либо считают пульс, чтобы зафиксировать время смерти. Эти держали иначе. Как будто им было не все равно, чем закончится подсчет.

Голос появляется раньше, чем зрение. Низкий для женского, без бархатной интонации, которую любят изображать в кино, когда хотят показать заботу.

– Дыши со мной. Не туда, сюда. Смотри на меня. На меня. Да, смотри на меня.

Голос звучит как приказ, обернутый в спокойствие. Я не смотрю, глаза еще не слушаются, но что-то во мне подчиняется раньше сознания.

Голос не просит, он констатирует, что я буду жить, как будто вопрос уже закрыт.

За двадцать лет я слышал десятки голосов, которые пытались меня спасти. Врачи, санструкторы в поле, один срочник, зажимавший мне бедро своей футболкой и повторявший молитву, которую явно выучил только что.

Все они боялись. Страх слышен, даже когда его прячут за профессиональным тоном. Слышен в паузах, в слишком быстром дыхании, в дрожи рук.

В этом голосе страха нет.

Есть усталость. Глубокая, вьевшаяся, как у человека, который слишком много раз стоял на этой границе. Но не страх. Впервые за долгое время меня спасает кто-то, кто не боится меня потерять как статистику.

Зрение возвращается кусками, словно кто-то по одной снимает шторы.

Сначала появляется свет. Слишком яркий. Потом – потолок. Серый, с трещиной, похожей на реку на карте. Потом – контур. Светлые волосы, выбившиеся из-под шапочки. Капли пота на виске, которые не успевают вытереть, потому что руки заняты мной.

И глаза.

Я не собирался их запоминать. У меня профессиональная память на лица: форма черепа, особые приметы, шрамы. Не цвет глаз.

Цвет глаз замечают влюбленные подростки и авторы плохих романов. Но не оперативники, которых учили, что сентиментальность убивает быстрее пули.

И все же я запоминаю.

Голубой. Но не тот безмятежный голубой с плакатов про мирное небо. Этот более холодный, почти серый по краям радужки. С одной странной искрой ближе к зрачку – как трещина во льду, через которую видно, что подо льдом что-то движется.

Она смотрит на меня не как на пациента номер такой-то.

Она уже решила, что я не умру. Теперь просто ждет, когда тело согласится с этим решением.

– Ты со мной? – спрашивает. Это не риторика. Это проверка.

Я моргаю.

– Хорошо.

В этом «хорошо» столько же облегчения, сколько холодного профессионализма, сколько чего-то третьего, чему я пока не подберу слова.

– Не вздумай уходить снова. У меня и без тебя вечер тяжелый. Не создавай проблем.

Я хочу спросить, кто она. Хочу спросить, что случилось с остальными, кто вытащил меня, сколько человек не вытащили.

Обстановка. Сначала всегда обстановка. Так меня учили.

Вместо этого я произношу одно слово. Хрипло, чужим голосом:

– Глаза.

Она хмурится, секунду решает, что это бред я несу. Тянется к монитору проверить показатели.

Я успеваю поймать ее запястье. Той самой рукой, которая двадцать минут назад еще не могла держать даже собственный вес.

– У тебя странные глаза.

Худшая фраза, которую я произносил за всю карьеру, включая переговоры с террористами. Но единственная, которая у меня осталась.

Что-то в лице девушки меняется. Но это не улыбка, для нее еще рано, мы оба это знаем. Что-то более сдержанное и более опасное для нас обоих: узнавание.

– Спи, – говорит наконец, забирая руку, но не резко. – Об этом поговорим, когда ты перестанешь бредить.

Закрываю глаза.

Впервые за много лет засыпаю не с ощущением, что проиграл. А с ощущением, что где-то в темноте меня кто-то держит за запястье и не собирается отпускать.

Это ошибка. Я понимаю это еще до того, как проваливаюсь в сон. Новпервые за долгое время мне все равно.

Глава 1 Алена

Смена началась в шесть утра и должна была закончиться в восемь вечера. Заканчивается она сейчас, в третьем часу ночи, потому что война не сверяется с графиком дежурств.

Мою руки в седьмой раз за день. Вода здесь всегда чуть теплая, генератор не тянет полноценный нагрев, и я давно перестала обращать на это внимание.

Обращаю внимание на другое: сколько крови под ногтями, сколько часов я на ногах, сколько миллиграммов осталось в упаковке, которую я не должна была вскрывать без разрешения.

Разрешение приходит, когда человек уже умер. Я перестала его дожидаться два года назад.

Меня зовут Алена Короткова, мне двадцать семь, и я умею делать некоторые вещи лучше, чем большинство людей моего возраста. Например, держать себя в руках, когда все вокруг разваливается, ставить катетер вслепую при плохом освещении и не думать о лице пациента, пока операция не закончена.

Обычно это работает. Броня из протокола плотнее любого бронежилета, если знаешь, в каком порядке действовать, страх не успевает догнать.

Не сегодня.

Сегодня броня дает трещину в тот момент, когда я меняю повязку неизвестному номер четыре – так его записали в журнале, потому что документов при нем не было, а те, кто его привез, ничего не объяснили и уехали быстрее, чем положено.

Мужчина открывает глаза раньше, чем должен, судя по дозировке. Смотрит не мутно, не испуганно, как смотрят большинство после наркоза.

Смотрит собранно, оценивающе. Как будто, еще не понимая, где находится, уже посчитал количество выходов из палатки и время, за которое сможет до одного из них добраться.

Профессиональная деформация. У меня она тоже есть, я в первую секунду считаю пульс, не спрашивая. У него, похоже, привычка того же порядка, только с другим содержанием.

– Ты со мной? – спрашиваю, потому что это первый вопрос, который я задаю всем.

Он моргает. Не кивает, просто моргает, экономя силы, и это тоже расчет, а не слабость.

Дальше должен быть стандартный протокол: имя, часть тела, где болит, ясность сознания. Вместо этого он произносит одно слово, хриплое, ни к чему не привязанное:

– Глаза.

Я решаю, что это бред. У тяжелых пациентов после кровопотери случаются провалы речи, слово вылетает не в том порядке, не в том контексте, само по себе бессмысленное.

Тянусь проверить зрачковую реакцию.

Он ловит меня за запястье.

Хватка слабая, потеря крови такая, что он и предплечье-то едва способен удержать в воздухе. Но в этой слабой хватке есть что-то, чего не бывает у пациентов в его состоянии: намерение. Не рефлекс. Решение.

– У тебя странные глаза, – говорит он.

Так. Вот теперь у меня проблема.

Аккуратно забираю руку, без рывка, чтобы не спровоцировать нагрузку на сосудистый шов, который держится на честном слове и трех узлах. Говорю что-то ровное про сон и про то, что разговоры подождут.

Голос у меня получается ровный, я слышу это со стороны, будто он принадлежит кому-то другому – той версии меня, которая справляется.

Внутри совсем не ровно.

Мне двадцать семь лет. Я закончила ординатуру раньше сверстников, потому что не спала половину этих лет. Я не влюбленная девочка, которая таит от того, что раненый мужчина сказал ей комплимент в полубреду.

Я врач. Я видела десятки лиц в этом состоянии, и ни одно из них меня не задерживало дольше, чем требовалось для диагноза.

Проблема в том, что это лицо задерживает.

Не потому, что он красив, красивых здесь тоже привозят, и это не работает как индульгенция от нормальной реакции. Дело в другом: он смотрит так, будто уже принял решение насчет меня, а я еще даже не выбрала, как к этому относиться.

Возвращаюсь к посту в четыре утра. Пишу назначения, проверяю капельницы у двух других пациентов, помогаю медсестре с перевязкой у парня с соседней койки. Молодой, почти мальчик, все время благодарит, хотя благодарить не за что: я просто делаю то, за что мне платят.

Неизвестный номер четыре молчит всю ночь.

Подхожу проверить его состояние в половине шестого, это обычная процедура, ничего личного. Он не спит. Смотрит в потолок с тем же собранным выражением, как будто мысленно составляет отчет о собственном ранении.

– Как самочувствие? – спрашиваю, держась строго в рамках протокола.

– Жить буду, – отвечает. – Судя по всему, вашими стараниями.

Это не благодарность. Это констатация факта, произнесенная тоном человека, которому неудобно, что факт вообще существует.

– Это моя работа, – говорю, и это правда, и мне нужно, чтобы это прозвучало именно как правда, а не как скромность.

Он смотрит на меня чуть дольше, чем требует разговор о самочувствии.

– У вас усталый вид, – говорит.

– У меня плановая смена в четырнадцать часов вместо восьми. У меня всегда усталый вид.

– Не такой, – говорит он. – Другой.

Не спрашиваю, что он имеет в виду. Я и так понимаю: он различает виды усталости, потому что сам, судя по шрамам, которые я насчитала во время осмотра, знает о них не понаслышке. Виды усталости – это не то, о чем говорят с незнакомыми людьми в первую ночь после ранения.

И тем не менее он говорит.

Утром прихожу с обходом главврача. Мы стоим у его койки минуту, не больше. Обычная формальность перед тем, как двигаться дальше по палате.

– Кто он? – спрашивает главврач тихо, когда мы отходим.

– Без документов. Привезли без сопровождения, без объяснений.

– Ясно, – говорит тоном, которым не говорят про рядовых пациентов. – Скорее всего, заберут сегодня-завтра. Такие обычно долго не задерживаются, переводят в закрытые госпитали, подальше от лишних глаз.

Согласно киваю, потому что это разумно, потому что так всегда происходит с ранеными подобного профиля, потому что у меня нет никаких оснований на это реагировать иначе, чем регистрацией факта в рабочем журнале.

«Забавно, – думаю я, возвращаясь на пост, – что тело реагирует раньше, чем разум успевает подобрать этому название».

Что-то внутри коротко, неприятно сжимается, как будто мне сообщили не рабочую информацию, а что-то, что касается лично меня. Останавливаюсь у раковины, снова мою руки, хотя они чистые.

Это не про пациента. Пациентов переводят каждую неделю, я не запоминаю их лиц дольше суток. Так безопаснее, так меньше выгораешь. Если бы я боялась за исход лечения, это было бы объяснимо. Медицински объяснимо.

Но я боюсь не этого. Я боюсь, что его увезут прежде, чем я успею понять, что именно во мне только что сдвинулось.

Мысль настолько неуместная, что я едва не смеюсь вслух над собой и над ситуацией. Хочется списать это на бессонную ночь, на восемнадцать часов без нормальной еды, на профессиональное выгорание, о котором так любят писать в методичках для врачей полевых госпиталей.

Списать не получается.

Поднимаю голову, в отражении над раковиной вижу себя саму, усталую, с темными кругами под глазами, в мятом халате, застегнутом не на ту пуговицу.

«Врач, – напоминаю я себе. – Не влюбленная девочка. У меня нет права на это чувство здесь, сейчас, к пациенту, чье настоящее имя я даже не знаю».

Отражение не спорит. Но и не соглашается.

Выключаю воду, иду обратно на пост, потому что смена не закончена, потому что кто-то ждет перевязки, потому что где-то в глубине здания, за две двери от меня, лежит человек, который завтра может исчезнуть из моей жизни.

Исчезнуть так же внезапно, как в нее вошел, и единственное, что я могу с этим сделать, это не думать об этом до тех пор, пока не думать станет невозможно.

Глава 2 Призрак

Боль возвращается вместе с ясностью. Словно организм наконец решает, что притворяться больше не имеет смысла.

Лежу и считаю металлические балки на потолке палатки. Десять. Считаю их не потому, что мне интересно, а потому, что счет – это единственное, что удерживает мысли от того, чтобы вернуться туда, откуда я только что выбрался.

Не помогает.

Песок. Слишком много света для четырех утра.

Мы должны были войти тихо. Захожу первым, за мной Денис, за ним еще трое – стандартный ромб, отработанный до автоматизма за столько лет, что тело движется быстрее мысли. Разведка подтвердила: объект пуст, охраны минимум, у нас есть окно в сорок минут.

Окна не было.

Услышал щелчок раньше, чем увидел вспышку. Всегда слышу раньше, это не хвостовство, это профдеформация человека, который слишком долго живет по законам чужого прицела.

Денис среагировал первым. Как всегда. Закрыв сектор, который должен был закрывать я, потому что я на долю секунды замешкался, оценивая угол. Та самая доля секунды, за которую нормальный оперативник успевает принять решение, а я вместо этого запомнил, как меняется цвет неба перед рассветом.

Мелочь. Профессиональная мелочь, за которую не отдадут под трибунал.

За нее платят по-другому.

Я не видел, как это случилось. Я слышал. Звук, который ни с чем не спутаешь, если слышал его хоть раз. И после этого он вплетается в тебя навсегда, всплывает в самый неподходящий момент, как сейчас, когда я лежу на койке полевого госпиталя и пытаюсь считать балки.

Рука сама тянется к предплечью.

Не к ране, рана в другом месте. Тянется туда, где кожа помнит то, что разум предпочел бы забыть. Я не смотрю вниз. Мне не нужно смотреть, я и так знаю расположение каждой цифры наизусть, знаю их так, как знают адрес, по которому больше некому писать.

Скоро там появится еще одна дата. Это не память. Это долг, который выплачивается процентами каждую ночь.

Останавливаю руку раньше, чем она успевает договорить то, что обычно говорит только мне. В палатке кто-то есть.

Открываю глаза, угол обзора позволяет оценивать расстояние и положение тела относительно входа. Девушка стоит у соседней койки, спиной ко мне, разбирается с перевязкой у другого раненого, и меня она пока не видит.

У нее усталая спина, как у человека, который слишком долго держит себя прямо через силу.

Она поворачивается, замечает, что я не сплю, и подходит.

– Как самочувствие?

– Жить буду, – отвечаю коротко, потому что вежливость требует продолжения, добавляю то, чего говорить не планировал: – Судя по всему, вашими стараниями.

Она садится на край соседнего табурета, это слишком близко, ближе, чем требует профессиональная дистанция, ближе, чем я готов терпеть от кого бы то ни было в состоянии, когда контроль над телом мне только предстоит вернуть.

Ей незачем садиться так близко. Она либо не понимает этого правила, либо сознательно его нарушает – и оба варианта мне не нравятся одинаково.

– У вас усталый вид.

- Вы уже говорили.
- А вы не ответили.
- Да, у меня всегда усталый вид.

Она произносит это с легкой иронией, она как броня, я узнаю этот прием, сам им пользуюсь. Но я вижу под иронией то, что она пытается спрятать: настоящую усталость, ту, что копится не от смен, а от количества смертей, которые проходят через твои руки быстрее, чем ты успеваешь их оплакать.

- Не такой, – говорю. – Другой.

Она замирает на секунду, как будто не ожидала, что кто-то заметит разницу.

Мне не следовало это говорить. Наблюдательность – это рабочий инструмент, а не повод для разговора с человеком, которого я вижу второй раз в жизни.

Девушка не спрашивает, что я имею в виду. Это тоже профессионально, молодец, не лезет туда, куда не приглашали. Мне бы стоило оценить эту деликатность.

Вместо этого я чувствую раздражение.

Не на нее, на себя – за то, что позволил разговору зайти дальше, чем позволяет протокол безопасности, который я соблюдаю даже наедине с самим собой.

За то, что запомнил цвет ее глаз раньше, чем успел понять, кто вытащил меня из-под обстрела. За то, что рука снова непроизвольно тянется к предплечью, а она это замечает, я вижу, как ее взгляд на долю секунды опускается туда, где под бинтами и марлей скрыто то, что не объясняют никому.

– Не трогайте, – говорю резче, чем требуется. Резче, чем позволительно говорить с человеком, который вытащил тебя с того света.

Она вскидывает бровь, но не обиженно, скорее с профессиональным интересом, будто фиксирует симптом.

- Я и не трогаю.

- Взглядом трогаете.

Это грубо. Это несправедливо. Это единственный способ, которым я умею говорить людям «не подходите», не произнося этих слов вслух.

Она молчит секунду, потом встает, без обиды, спокойно, как будто мой тон ее не задел, а лишь подтвердил какую-то догадку.

- Хорошо, – говорит. – Не буду.

Уходит к следующей койке.

«Так надо, – говорю я себе. – Дистанция – это не жестокость, а необходимость. Люди, которые подходят ко мне слишком близко, обычно платят за это дороже, чем готовы заплатить».

Мысль не успокаивает, а наоборот, тянет за собой другую, которую я до этого момента гнал прочь усилием воли.

Кто знал маршрут?

Закрываю глаза, но вместо сна включаю то единственное, что умею делать хорошо в любом состоянии: анализ.

Маршрут знали пятеро. Командование, оперативный штаб, координатор на земле – это без учета тех, кто согласовывал само решение о выходе. Пятеро человек, каждый из которых имел допуск, каждый из которых по бумагам чист.

Охрана минимальная. Так было сказано. Охрана оказалась развернутой заранее, будто нас ждали не сорок минут, а ждали с точностью до минуты входа.

Совпадений такого уровня не бывает.

Лежу неподвижно, глядя в те же десять балок, но считаю уже не их, а считаю тех, кто мог знать точное время операции с точностью, достаточной для засады.

Список короткий. Слишком короткий, чтобы быть случайностью, и слишком закрытый, чтобы быть внешней утечкой.

Значит, свои.

Мысль встает на место с тем же холодным шелчком, с которым встает затвор. Без эмоций, чисто механически, потому что эмоции сейчас непозволительная роскошь.

Первая привычная реакция: прикинуть варианты собственного отхода, если информация подтвердится. Куда, как, с каким прикрытием. Годами тренированный рефлекс, работающий быстрее сознательной мысли.

Вторая реакция ломает первую пополам.

Она видела меня без сознания. Она вытаскивала меня, когда я был бесполезным грузом на ее руках. Она сидела рядом дольше, чем требовал протокол, и спрашивала про усталость, которую не должна была замечать.

Если утечка подтвердится, если те, кто слил маршрут, узнают, что я выжил, – первое, что они сделают, это выяснят, кто меня спас. Я бы сам так сделал.

И тогда опасность будет угрожать не только мне.

Я открываю глаза, в палатке тихо, только мерное попискивание мониторов и чье-то сбившее дыхание через две койки от меня.

Нахожу девушку взглядом, она стоит у дальнего стола, что-то записывает в журнал, отвернувшись, не подозревая, что минуту назад стала частью уравнения, в котором до этого были только я, только моя вина, только мой список погибших.

Боюсь не за себя. Это странно, и это впервые.

Это чувство настолько незнакомое, что я не сразу понимаю его природу, а когда понимаю, оно пугает больше, чем сама мысль о предательстве.

Нас ликвидируют, и это не моя фантазия.

Глава 3 Алена

Тревогу объявляют без сирены. Это то, что отличает настоящую опасность от учебной: никто не хочет, чтобы противник услышал, что его заметили.

Свет гаснет резко, весь корпус разом, и в темноте я слышу, как кто-то из медсестер роняет поднос. Звон металла о настил кажется оглушительным в тишине, которая наступает следом.

– Всем оставаться на местах, – говорит голос дежурного офицера из коридора, но в его тоне нет той уверенности, которая должна быть у человека, отдающего приказ в контролируемой ситуации.

Что-то не так. Не так, как бывает при плановых учениях, не так, как бывает при обычной проверке периметра.

Стою посреди палаты с ампулой в руке, так и не успев ее вскрыть, и первая мысль не о собственной безопасности, не о протоколе эвакуации, который я обязана знать наизусть.

Первая мысль: где он?

Он лежит в дальнем углу, в темноте я вижу, как мужчина уже приподнимается на локте, несмотря на швы, несмотря на то, что любое резкое движение может навредить.

Он не паникует. Он слушает.

Подхожу рефлекторно, не задумываясь о том, что это неправильно, что я должна сейчас организовывать эвакуацию тяжелых, а не стоять рядом с одним конкретным пациентом.

– Что происходит? – шепчу.

– Периметр, – говорит мужчина тихо, без вопросительной интонации. – Кто-то снял внешнее освещение до того, как отключили основное питание, это не авария.

Снаружи раздается звук, который я слышала десятки раз за последние два года и который никогда не переставал вызывать во мне ледяной, парализующий холод под ребрами: короткая очередь, потом еще одна, дальше, ближе к воротам.

Не учения. Не проверка.

Свет фонарей мечется за брезентовыми стенами, это не ровный свет патруля, а рваный, суевливый, свет людей, которые бегут, а не ходят маршрутом.

Замираю на секунду дольше, чем позволительно.

Я умею действовать в хаосе. Я умею останавливать кровотечение под артобстрелом, умею шить кожу, пока рядом рвутся мины. Но это другое, это не про чужую кровь, это про то, что я впервые за долгое время боюсь не за пациентов вообще, а за одного конкретного человека, и это чувство настолько незнакомое, что тело реагирует раньше разума.

– Короткова, – окликает дежурный офицер откуда-то из темноты, – эвакуация тяжелых через южный выход, немедленно!

Южный выход в противоположной стороне от того угла, где лежит тот странный военный без имени. Я делаю шаг в сторону своей обязанности и останавливаюсь.

Это неправильно. Это против всех правил, которым меня учили: врач не выбирает пациента, врач спасает того, кого может спасти в первую очередь, по степени тяжести, а не по каким-то личным основаниям.

Он уже на ногах, но шатается, держится за спинку койки, но стоит, и в этом стоянии больше воли, чем должно быть у человека с его повреждениями.

– Иди, – говорит он мне. Голос ровный, будто отдает приказ, хотя не имеет на это никакого права в моем госпитале. – Я справлюсь сам.

Не справится. Еще одно резкое движение, и шов разоидется, а рядом никого не будет, кто сможет его перевязать в темноте, под огнем, за считанные минуты.

Не думаю дальше рационально. Решение принимается где-то на уровне, который не подчиняется протоколу.

– Нет, – говорю твердо, так, чтобы у него не осталось иллюзий, что это обсуждается. – Со мной.

Он оценивающе смотрит на меня секунду, как будто взвешивает, стоит ли спорить, и, видимо, решает, что время дороже спора.

Закидываю его руку себе на плечо. Он тяжелее, чем казался на койке, и каждый шаг отдается в его теле сдавленным звуком, который он старается не издавать вслух.

Держись. Просто держись, пока мы не выйдем отсюда.

Снаружи хаос гуще, чем я представляла из палатки. Люди бегут в разные стороны, кто-то кричит координаты, кто-то тащит носилки, а за забором, у ворот, вспышки становятся регулярными, как будто там уже не перестрелка, а полноценный штурм.

Мы не идем к южному выходу.

Я веду его в противоположную сторону, к техническому проходу за складом медикаментов, о котором знаю только потому, что месяц назад заблудилась там в поисках просроченных ампул для утилизации.

Это безумие. Я не имею права принимать такие решения в одиночку.

Но я уже приняла его – и не собираюсь пересматривать.

Мы протискиваемся между контейнерами, и в какой-то момент он теряет равновесие – швы, кровопотеря, слишком долгий путь для тела, которое еще сутки назад считалось клинически нестабильным.

Он падает вперед, я успеваю поймать его всем телом, так что на секунду мы оказываемся вплотную друг к другу в узком проходе между ящиками.

Дыхание мужчины сбито, это от боли, не только от нагрузки. Моя рука лежит у него на груди, там, где сердце бьется слишком быстро для человека в его состоянии, и я чувствую этот ритм ладонью раньше, чем успеваю сосчитать его профессионально.

Это не тот контакт, который бывает между врачом и пациентом. Это другое. Слишком близко, слишком долго, слишком осознанно с обеих сторон.

Он не отстраняется. Я тоже.

Несколько секунд мы стоим в темноте между ящиками, пока снаружи звучат выстрелы, а внутри этого узкого пространства существует что-то, чему нет места ни в одном протоколе.

– Вы должны были бежать в другую сторону, – говорит он тихо, почти у самого уха.

– Вы должны были остаться лежать, – отвечаю так же тихо.

– Оба варианта отменяются, – в этом есть что-то похожее на сухую иронию впервые за все время нашего знакомства.

Я должна отпустить. Отступить на шаг, вернуть дистанцию, вспомнить, что я врач, а не участница чего бы то ни было личного в эту секунду.

Я не отступаю.

Выстрелы стихают на мгновение, этого достаточно, чтобы услышать, как кто-то отдает команды по-русски, но не по протоколу, которым пользуется наша охрана. Другие позывные, другой ритм речи.

– Это не спасатели.

– Знаю, – отвечает он. Тон меняется, исчезает ирония, остается холодный расчет человека, который уже понял то, чего я еще не осознала до конца. – Нам нужно уходить сейчас, пока проход свободен.

Мы выбираемся через технический выход в тот момент, когда прожектор на секунду упускает наш угол, и бежим, вернее, я почти тащу его вдоль внешней стены к лесополосе, где темнота гуще и укрытия больше.

Мы останавливаемся, только когда звуки перестрелки становятся достаточно далекими, чтобы позволить себе секунду передышки. Он опирается спиной о ствол дерева, дышит тяжело, одна рука прижата к боку, где, судя по всему, разошелся шов.

Я должна была остаться в госпитале. Должна была выполнять приказ, эвакуировать тяжелых через южный выход, как положено.

Я этого не сделала, и впервые за долгое время не жалею о нарушенном протоколе.

– Как вы себя чувствуете? – тянусь к его боку, чтобы оценить кровотечение.

Он смотрит на меня в темноте, не вижу выражения его лица целиком, только контур, но чувствую, что он смотрит иначе, чем смотрел все предыдущие разы.

– Терпимо.

Глава 4 Призрак

Останавливаемся, когда звук выстрелов стихает настолько, что можно различить собственное дыхание.

Девушка опускается на камень рядом со мной, почти падает, адреналин наконец начал отступать, уступая место усталости. Сам стою, прислонившись спиной к стволу дерева. Дышать больно, шов на боку разошелся сильнее, чем я готов признать вслух.

Контролируй выражение лица. Контролируй голос. Она не должна видеть, насколько все плохо.

– Как вы себя чувствуете? – спрашивает она, потянувшись к моему боку.

– Нормально, – перехватываю ее руку раньше, чем она касается раны.

– Это неправда, – говорит спокойно, будто спорит не со мной, а с диагнозом.

Она права. Мне это не нравится.

– Вы не в госпитале, – говорю жестче, чем следовало бы. – Здесь я решаю, что нормально, а что нет.

Смотрит на меня секунду, не обиженно, скорее оценивающе, как будто фиксирует еще один симптом на невидимой карте.

– Хорошо, – говорит. – Тогда хотя бы назовите свое имя. Раз уж вы тут все решаете.

Простой вопрос. Простой ответ, который я не должен ей давать.

– Призрак, – говорю.

– Это позывной, – она хмурится.

– Это то, что вам нужно знать.

– Меня зовут Алена, – говорит, будто не расслышала моих слов, будто повторный ход в этой игре – единственный ответ, который она признает. – Не «медицинская карта». Не «капитан медицинской службы». Алена.

Она делает это специально. Подходит ближе к тому, от чего я годами держу людей на расстоянии, и делает это без малейшего смущения, как будто дистанции, которую я выстраивал всю жизнь, для нее вообще не существует.

Мне следовало промолчать. Вместо этого я слышу свой голос:

– Мне все равно, как вас зовут.

Ложь звучит настолько плохо, что я сам ее слышу.

– Неубедительно, – говорит, вскидывает бровь. – Особенно для человека, который в бреду сказал про мои глаза.

Она запомнила. Конечно, она запомнила – я и сам не могу забыть тот момент, хотя очень стараюсь.

Раздражение нарастает быстро, оно обжигает, и я не успеваю его сдержать.

– Послушайте, – говорю, – то, что вы вытащили меня с того света, не дает вам права лезть в то, что вас не касается.

Она медленно, без спешки встает с камня, но на лице выражение, которое я уже начинаю узнавать: не страх, не обида, а готовность стоять на своем до последнего.

– Не касается? – переспрашивает она. – Я сейчас в горах, без документов, без прикрытия, потому что вытащила из-под обстрела человека, который отказывается говорить, кто он такой и почему за ним пришли. По-моему, это как раз то, что меня касается.

Она права. Она абсолютно, черт возьми, права, и от этого становится только хуже.

– За мной пришли, потому что я участвовал в секретной операции, которая провалилась, – говорю, стиснув зубы. – Больше вам знать не нужно.

– Не нужно, – повторяет она с горькой иронией. – Понятно. Значит, теперь я просто бегу за вами по горам вслепую, потому что вам так удобнее.

Скажи ей. Хотя бы часть. Она заслужила хотя бы часть.

Я молчу на секунду дольше, чем следовало.

– Теперь я отвечаю за вас, – говорю я наконец. Тон получается более резким, чем я планировал, потому что признание дается мне тяжелее, чем должно. – Вы оказались в опасности из-за меня. Значит, моя задача – вытащить вас из этого целой и невредимой. Точка.

– Нет, – смотрит на меня так, будто я сказал что-то абсурдное.

– Нет?

– Нет, – повторяет тверже. – Это я вас вытащила. С операционного стола, из-под обстрела, из палатки, которую тоже наверняка обстреляли, и могли пострадать мои коллеги и другие раненные. Так что если кто-то тут за кого-то и отвечает, то это я отвечаю за вас, а не наоборот.

Абсурд. Ни один нормальный человек не скажет такого оперативнику, который на голову выше его по подготовке к выживанию в подобных условиях.

– Вы врач, – говорю, – а не телохранитель.

– А вы едва стоите на ногах, – отвечает без запинки, – но все равно решили, что вправе меня защищать. По-моему, мы оба сейчас говорим глупости, но моя хотя бы основана на медицинских фактах.

Она не отступает. Никто не разговаривал со мной так. Ни подчиненные, ни командование, ни кто бы то ни было за последние десять лет. И то, что меня это не бесит настолько, насколько должно было бы, пугает больше, чем сама перестрелка часом ранее.

Отворачиваюсь, потому что смотреть на нее дольше – это плохая идея.

Держись на расстоянии. Она врач, который делает свою работу с излишним усердием, не более того.

Ложь не выдерживает и пяти секунд.

Снова смотрю на девушку. На то, как выбившаяся прядь волос прилипла к виску, на то, как она стоит – прямо, несмотря на усталость, которая читается в каждой линии ее тела. На то, как ее взгляд не отводится первым, хотя должен был бы, потому что я смотрю на нее дольше, чем позволяет любая профессиональная дистанция между случайными знакомыми.

Прекрати.

– Вы не понимаете, с чем связались, – мой голос звучит жестче, чем я хотел, потому что единственный способ, которым я умею гасить это чувство, – раздражение. – Это не игра в спасение раненых. Это люди, которые без колебаний убивают тех, кто оказался не в том месте не в то время. И теперь вы одна из них, и не потому, что сделали что-то не так, а потому, что оказались рядом со мной.

– Тогда объясните мне, что происходит, – спрашивает жестко, – вместо того, чтобы срываться каждый раз, когда я подхожу слишком близко.

Слишком близко. Она даже не представляет, насколько точно это сформулировала.

– Я не срываюсь.

– Срываетесь, – отвечает она без тени сомнения. – Каждый раз, когда я задаю неудобный для вас вопрос, вы грубите. Это не характер, Призрак. Это защита. Я достаточно насмотрелась на людей с посттравматическими реакциями, чтобы отличить одно от другого.

Она видит меня насквозь быстрее, чем я успеваю возвести очередную стену.

Хочу возразить, но не нахожу слов, которые прозвучали бы искренне, а не как очередная попытка оттолкнуть.

– Операцию слили, – говорю вместо этого тихо, впервые за весь разговор без раздражения в голосе. – О маршруте знали пятеро человек с допуском. Засада ждала нас с точностью, которая не бывает случайной. Это значит, что предатель – свой. Кто-то из своих.

Она молчит, осмысливая сказанное.

– И вы не знаете, кто именно, – говорит наконец.

– Нет. Но я знаю, что, если это подтвердится, они не остановятся на мне.

Скажи ей остальное. Скажи, что теперь ты боишься не за себя.

Не успеваю договорить эту мысль даже мысленно. Раздается пока еще далекий, но уверенно приближающийся низкий механический звук. Двигатель. Не один, судя по звуку, минимум два.

Алена замирает, взгляд устремляется на дорогу внизу, которую отсюда не видно, но слышно достаточно хорошо.

– Это за нами? – тихо спрашивает.

Не знаю. И это худший из всех возможных ответов.

Я отталкиваюсь от дерева, не обращая внимания на боль в боку.

– Нужно уходить. Сейчас же. У нас нет укрытия, и я понятия не имею, куда идти дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.